

28.976 К

НИКОЛАЙ
МАЯКОВ

МЫ

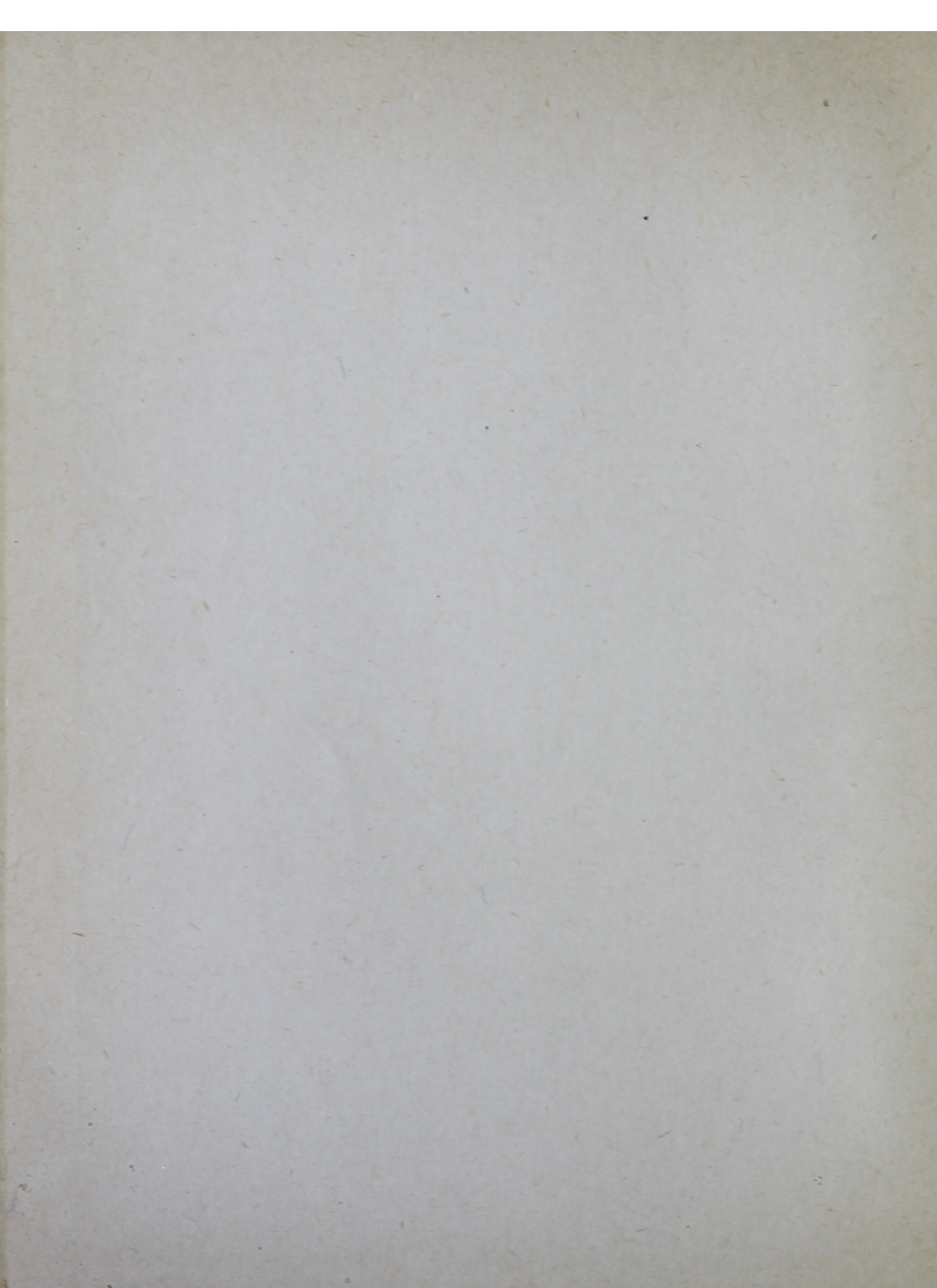
Молодая
гвардия
1962

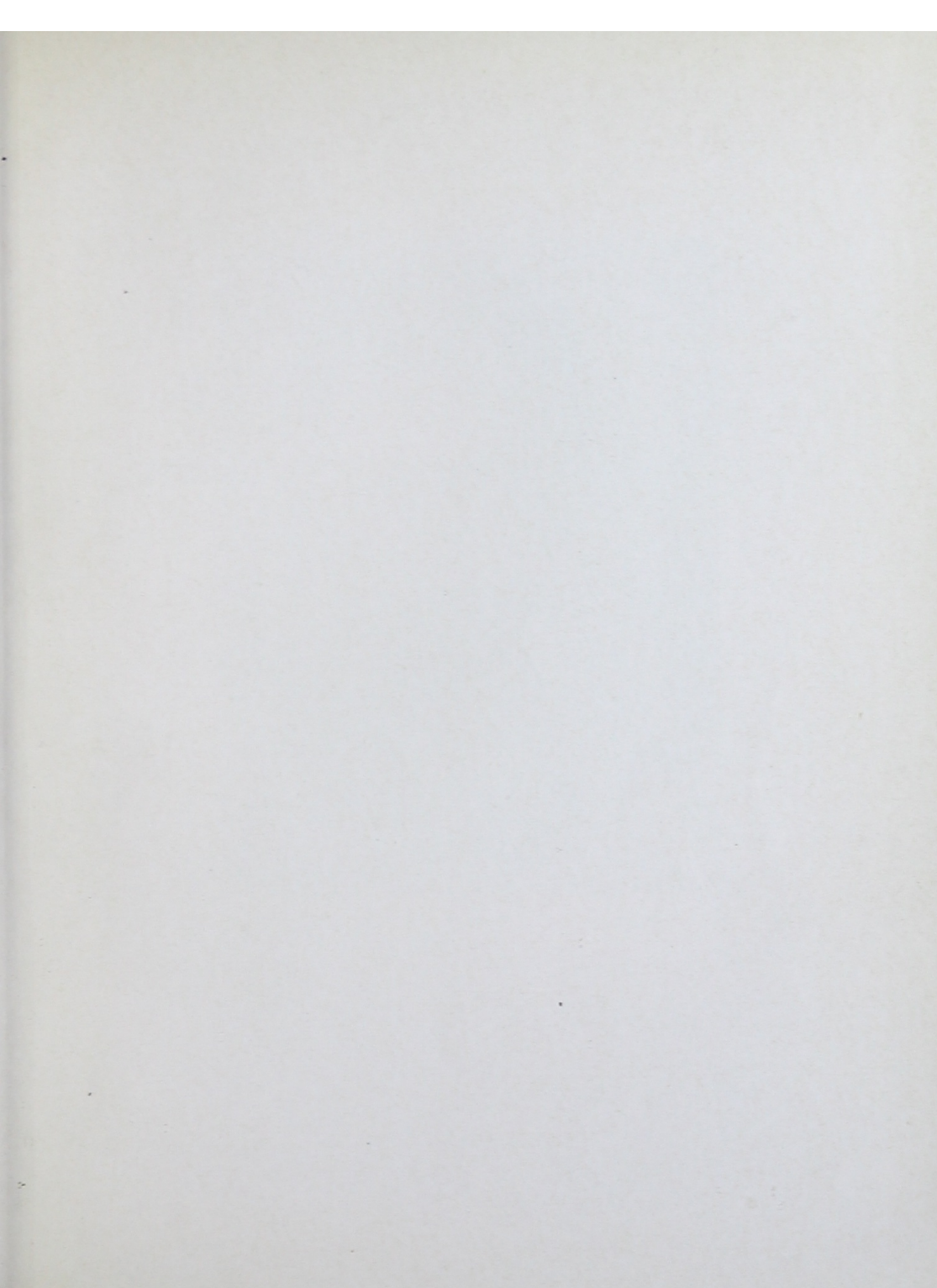
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

--	--







Из книг
Л.А. Розановой

НИКОЛАЙ
МАЙОРОВ

МЫ

КНИГА СТИХОВ

Издательство
ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“
1 9 6 2

...Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Книга стихов Николая Майорова — первая дань памяти молодому талантливому русскому поэту, погибшему в боях за Родину.

Сын простого ивановского рабочего, Николай Майоров до войны учился на историческом факультете Московского университета и одновременно посещал занятия Литературного института имени А. М. Горького. Осенью 1941 года Николай Майоров пошел добровольцем на фронт и пал смертью храбрых.

Николай Майоров — один из наиболее самобытных поэтов предвоенного поколения (род. в 1919 г.). Стихи его отмечены ярким жизнеутверждающим талантом. Поэт уверенно выходил на свою самостоятельную поэтическую дорогу, шел к лирике больших чувств и высокой гражданственности. Николаю Майорову присуще удивительно острое чувство времени — черта истинного поэта. Он писал об искренней мужской любви, о подвиге, о своем поколении. Судьба поэта, судьба поколения слились в стихах Николая Майорова воедино.

В этой книге собраны лучшие из немногих дошедших до нас стихов Николая Майорова и воспоминания его друзей — поэтов и писателей.

Издательство благодарит **БОЛХОВИТИНОВА В. Н.** и **ЖУКОВА В. С.**, оказавших неоценимую помощь в сборе литературного наследства Николая Майорова и подготовке его стихов к печати.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Двадцать лет тому назад, зимою 1940/41 года, в Литературном институте имени Максима Горького работал поэтический семинар, объединявший студентов одаренных и самобытных, истово рвавшихся к поэтическому творчеству. Будущее показало, что многие из них действительно стали поэтами. В семинаре господствовала атмосфера горячая и чистая — уважение друг к другу, хозяйская забота о судьбах нашей поэзии.

Сейчас я плохо помню, как выглядел внешне, в какой пиджак был одет студент-историк Николай Майоров, читавший свои стихи глуховатым, низким голосом. Был он, кажется, выше среднего роста, с лицом серьезным и сосредоточенным, был немногословен и чуть неуклюж. В стихах его звучала воспитанная самой жизнью, а не вычитанная в книгах, обязательных для студента-историка, любовь к истории родной земли.

Николаю Майорову не приходилось искать себя и свою тему. Его поэтический мир с самого начала был резко очерчен, и в самоограничении он чувствовал свою силу. Его лирика, повествующая об искренней мужской любви, органична в этом поэтическом мире.

Осенью 1941 года, как и многие другие его сверстники-студенты, Николай Майоров пошел добровольцем в армию и пал смертью храбрых.

...И вот сейчас, через двадцать лет, передо мною лежат стихи Николая Майорова, написанные еще в студенческие годы. В них легко узнать автора, круг его излюбленных образов, с тою только разницей, поистине огромной разницей, что история для Майорова перестала быть рассказом о прошлом. Она превратилась в его собственную военную судьбу, сделалась историей, творимой рядом с ним такими же, как он, а отчасти и им самим. Он увидел как бы со стороны самого себя и поколение, к которому принадлежал, увидел исторически. В этом интерес и своеобразие этих надежно построенных, оправданных военным подвигом строк и строф.

Стихи Николая Майорова уже не постареют, точно так же, как не постареет их автор, погибший в молодости и навсегда оставшийся молодым.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

СТИХИ

NXNTC

МЫ

Это время
трудновато для пера.
Маяковский

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах читаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатога плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!

О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

1940

ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни
Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя всё так же мяли глину
И лучшего придумать не смогли.

1940

АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалось мне: вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.
Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок —
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!
И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно —
Вот так, храня стремление одно,

Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды
(А жизнь идет!), — все глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,
До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилье, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает
На сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери — воды.

1939

В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА

Иди познай людское дело
И в Мавзолей войди, как в жизнь, —
Рукой дрожащей и несмелой
Его бессмертия коснись.

Здесь всех основ лежат начала.
Мы знаем, что и он любил,
Он тоже был живым сначала
И этой площадью ходил.
По тем же стершимся ступеням...
Но как ни мудрствуй, ни пиши,
Ты не вместишь в названье **ЛЕНИН**
Вселенский взмах его души.

Пройди весь мир насквозь и снова
Вернись к нему, и у Кремля
Тебя согреет этим словом
Его родившая земля.

Им каждый подвиг наш пронизан,
И он во всем, чем мы живем,
Он нам необходим и близок —
Мы в нем бессмертье узнаем.

1938

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

Рассвет сочился будто в сите,
Когда в звенящем серебре
Рванулся резко истребитель
Косым движением к земле.
Пилот, в бесстрашие шансы взвесив,
Хватался в спешке за рули,
Но все дороги с поднебесья
К суровой гибели вели.
И с жадной верной не разбиться,
Спасая в виражах мотор,
Хотел он взмыть, но силу птицы
Презрели небо и простор.
Она все тело распластала,
Скользя в пространстве на крыле,
И вспышкой взрыва и металла
Жизнь догорела на земле.
...А сила ветра так же крепла,
Восходом солнца цвел восток,
И на земле сквозь дымку пепла
Пробился утренний цветок.
Уже истлели тело, крылья,
Но жизнь, войдя с людьми в родство,
Презрев пред гибелью бессилье,

Свое справляла торжество.
Как прежде, люди в небо рвались
В упорной жажде высоты.
А в небе гасли, рассыпались
Звезд изумрудные цветы.
И пахли юностью побеги
Ветвей. Прорезав тишину,
Другой пилот в крутом разбеге
Взмыл в голубую вышину.
Мир был по-прежнему огромен,
Прекрасен, радужен, цветист;
И с человеческим сердцем вровень
На ветке бился первый лист.
И, не смущаясь пепла, тлена,
Крушенья дерзостной мечты,
Вновь ликовала кровь по венам
В упорной жажде высоты!

1938

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Приду к тебе и в памяти оставляю
Застой вещей, идущих на износ,
Спокойный сон ночного Ярославля
И древний запах бронзовых волос.
Все это так на правду не похоже
И вместе с тем понятно и светло,
Как будто я упрямее и строже
Взглянул на этот мир через стекло.
И мир встает — столетье за столетьем,
И тот художник гениален был,
Кто совершенство форм его заметил
И первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
И грубый корм свой поднося к губе,
И кутаясь в тепло звериной шкуры,
Он в первый раз подумал о тебе.

Он слушал ветра голос многоустый
И видел своды первозданных скал.
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
И образ твой в пещере изваял.

Пусть истукан массивен был и груб
И походил скорей на чью-то тушу,

Но человеку был тот идол люб:
Он в каменную складку губ
Все мастерство вложил свое и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаюсь,
Он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,
Куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября.
Мне даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слезы о прекрасном говоря.

1939



Кр 28.976

НА РОДИНЕ

Там не ждут меня сегодня и не помнят.
Пьют чай. Стареют. Свято чтут
Тесноту пропахших пылью комнат,
Где мои ровесники растут,
Где, почти дверей плечом касаясь,
Рослые заходят мужики
И на стол клеенчатый бросают
Красные, в прожилках кулаки.
В дымных, словно баня, плошках
Мать им щи с наваром подает.
Мухи бьют с налета об окошко.
Кочет песни ранние поет.
Только в полдень отлетевшим залпом,
Клочьями оборванного сна,
Будто снег на голову, внезапно
Падает на окна тишина.
Пахнут руки легкою ромашкой.
Спишь в траве и слышишь: от руки
Выползают стайкой на рубашку
С крохотными лапками жуки.
Мир встает такой неторопливый,
Весь в цветах, глубокий, как вода.
Даже слышно вечером, как в нивы
Первая срывается звезда.

Людам не приснится душный город,
Крик базара, ржанье лошадей,
Ровное теченье разговора...
Люди спят. Распахнут резко ворот.
Мерное дыхание грудей.
Спят они, раскинув руки-плети,
Как колосья без зерна, легки.
Густо лиловеют на рассвете
Вскинутые кверху кадыки.
Видят сны до самого рассвета
И по снам гадают —
Так верней —
Много ль предстоящим летом
Благодатных выпадет дождей?
Я запомнил желтый подоконник,
Рад тому, что видеть привелось,
Как старик, изверившись в иконе,
Полщепотки соли на ладони
Медленно и бережно пронес.
Будет дождь: роняют птицы перья
Из пустой, далекой синевы.
Он войдет в косые ваши двери
Запахом немолкнущей травы,
Полноводьем, отдыхом в работе,
С каждым часом громче и свежей.
Вы его узнаете в полете
Небо отвергающих стрижей,
В бликах молний и в гуденье стекол,
В цвете неба, в сухости раки,
Даже в том, как торопливо сокол
Мимо ваших окон пролетит.

1938

ОДЕССКАЯ ЛЕСТНИЦА

Есть дивные пейзажи и моря,
Цветут каштаны, выросли лимоны.
А между нами, впрочем, говоря,
Я не глотал еще воды соленой.
Не видел пляжа в Сочи, не лежал
На пестрой гальке в летнюю погоду,
Еще ни разу я не провожал
В далекий рейс морского парохода,
Не слышал песен грузчиков в порту.
Не подышал я воздухом нездешним,
Не посмотрел ни разу, как цветут
И зноем наливаются черешни.
Не восходил к вершине с ледорубом,
Не знал повадок горного орла.
Еще мои мальчишеские губы
Пустыня древним зноем не сожгла.
Ташкента не узнал, не проезжал Кавказа,
Не шел гулять с ребятами на мол.
Еще одесской лестницей ни разу
Я к морю с чемоданом не сошел.
Мне двадцать лет. А Родина такая,
Что в целых сто ее не обойти.
Иди землей, прохожих окликаая,

Встречай босых рыбачек на пути,
Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
Ночуй в степи, не думай ни о чем,
Пока веревкой грубой не растерло
Твое на славу сшитое плечо.

1939

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

Когда подумать бы могли вы,
Что, выйдя к лесу за столбы,
В траву и пни ударит ливень,
А через час пойдут грибы?
И стало б видно вам отселе,
Лишь только ветви отвести,
Когда пойдёт слепая зелень
Как в лихорадке лес трясти.
Такая будет благодать
Для всякой твари! Даже птицам
Вдруг не захочется летать,
Когда кругом трава дымится,
И каждый штрих непостоянен,
И лишь позднее — тишина...
Так ливень шел, смещая грани,
Меняя краски и тона.
Размыты камни. Словно бивни,
Торчат они, их мучит зуд;
А по земле, размытой ливнем,
Жуки глазастые ползут.
А детвора в косоворотках
Бежит по лужам звонким, где,

Кружась, плывет в бумажных лодках
Пристрастье детское к воде.
Горит земля, и пахнет чаща
Дымящим пухом голубей,
И в окна входит мир, кипящий
Зеленым зельем тополей.
Вот так и хочется забыться,
Оставить книги, выйти в день
И, заложив углом страницу,
Пройтись босому по воде.
А после — дома, за столом,
Сверкая золотом оправы
Очков, рассказывать о том,
Как ливни ходят напролом,
Не разбирая, где канавы.

1939

УТРАТА

В тот день холодным было небо.
Прохожий торопил свой шаг.
Еще с карнизов спущен не был
С каймою траурною флаг.
Мороз щипал до боли лица.
И на окраине, у рвов,
Закоченевшие синицы
Валились наземь с проводов.
И не спалось. И было жестко,
Кровать как ком сухой земли.
И три морщины вперекрестку
На лбу товарища легли.
Он повернулся — в каплях пота —
И скрылся зябко в полумглу.
Метнулась тенью самолета
От лампы тень его в углу.
А утром — радио, газеты,
Печаль моей большой страны,
И всем знакомые портреты
В бордовый шелк окаймлены.

1938

ВЕСЕННЕЕ

Я шел, веселый и нескладный,
Почти влюбленный, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,
А от слободки, по низам,
Шел первый дождь,
Он бился в стекла,
Гремел в ушах,
Слепил глаза,
Летел,
Был слеп наполовину,
Почти прямой. И вместе с ним
Вступала боль сквозная в спину
Недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,
И лишь потом на всех углах
Вразбивку бабы торговали,
Сбывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
Просили взять,

Вдыхали в нос,
На грудь прикалывали,
Брали
Поштучно,
Оптом
И вразнос.
Ее вносили к нам в квартиру,
Как лампу, ставили на стол,
Лишь я один, должно быть, в мире
Спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,
Меня не трогали цветы.
Я думал о бульварах, где бы
Мне встретилась случайно ты,
С которой я лишь понаслышке,
По первой памяти знаком —
Дорогой, тронутой снежком,
Носил твои из школы книжки.

Откликнись, что ли?
Только ветер
Да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить —
Мы лишь дети,
Которых снова ждут домой,
Где чай остыл,
Черствеет булка...
Так снова жизнь приходит к нам
Последней партой,
Переулком,
Где мы стояли по часам...

Так я иду, прямой, просторный,
А где-то сзади, невпопад,
Проходит детство, и валторны
Словами песни говорят.

Мир только в детстве первозданен,
Когда себя не видя в нем,
Мы бредим морем, поездами,
Раскрытым настезь в сад окном,
Чужою радостью, досадой,
Зеленым льдом балтийских скал
И чьим-то слишком белым садом,
Где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,
Нам снова хочется домой,
В тот мир простой, как лист тетрадный,
Где я прошел, большой, нескладный
И удивительно прямой.

1938

* * *

Брату Алексею

Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь — дома, дороги, рвы,
Галдеж, истощный запах хлеба
Да посвист праздничной травы.
И как ни рвусь я в поднебесье,
Вдоль стен по комнате кружа,
Мне не подняться выше лестниц
И крыш восьмого этажа.
Земля, она все это помнит,
И хоть заплачь, сойди с ума,
Она не пустит дальше комнат,
Как мать, ревнива и пряма.
Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.
И через тьму сплошных догадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придет потом.
Нам ремесло далось не сразу —
Из тьмы неверья, немоты

Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.
Шли напролом, как входят в воду:
Жизнь не давалась, но ее,
Коль не впрямую, так обходом
Мы все же брали, как свое.
Куда ни глянь — сплошные травы,
Любая боль была горька.
Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.

1939

СТИХИ ПРО СТЕКОЛЬЩИКА

Что надо стекольщику, кроме пустых рам?
Со стульев вскакивают рыжие управдомы,
Когда старик проносит по дворам
Ящик, набитый стеклянным громом.
А мир почти ослеп от стекла.
И люди не знают о том — вестимо! —
Что мать Серафимом его нарекла
И с ящиком по свету шляться пустила.
На нем полосатые злые порты,
В кармане краюшка вчерашнего хлеба.
Мальчишки так разевают рты,
Что можно подумать — проглотят небо.
Они сбегаются с дач к нему.
Им ящик — забава. Но что с мальчишек?
Прослышал старик, что в каком-то Крыму
Люди заводят стеклянные крыши.
Он флигель оставил. Свистя на ходу,
Побрел ноздреватой тропой краснотала...
Стекольщик не думал, что в этом году
В лондонских рамах стекла не хватало.
1940

В ГОСПИТАЛЕ

Он попросил иссохшим ртом воды.
Уж третий день не поднимались веки,
Но жизнь еще оставила следы
В наполовину мертвом человеке.

Под гимнастеркой тяжело и грубо
Стучало сердце, и хотелось пить.
И пульс немного вздрагивал, а губы
Еще пытались что-то говорить.

Врачи ему при жизни отказали.
Он понял все: лекарства ни к чему.
В последний раз он попросил глазами —
И пить тогда не подали ему.

Хотелось выйти в улицы на воздух,
Локтями дверь нечаянно задеть.
А ночь была такая, что при звездах
Ему не жалко было умереть.

1939

ТУТ ГОРЬКИЙ ЖИЛ

(На просмотре фильма «Детство Горького»)

Тот дом, что смотрит исподлобья
В сплетенье желтых косяков,
Где люди верят лишь в снадобья,
В костлявых ведьм да колдунов,
Где, уставая от наитий,
Когда дом в дрему погружен,
День начинают с чаепитий,
Кончают дракой и ножом,
Где дети старятся до срока,
Где только ноют да скорбят,
Где старики сидят у окон
И долго смотрят на закат,
Где все вне времени и места,
Где лишь кулак имеет вес,
Где перезревшие невесты
Давно уж вышли из невест,
Где все на правду не похоже
И что ни делают — все в злость!

Где с первобытным рвением гложут
Нужды заплеванную кость,
Где ближний ближнего обмерит,
Где счастлив тот лишь, кто в гробу,
И где уже никто не верит
Ни в ложь,

ни в правду,

ни в судьбу,

Где возведен в закон обычай
Ничтожной горсточкой задир,
Где каждый прав и пальцем тычет,
Что он плюет на здешний мир,
Где нищету сдавили стены,
Где люди треплют языком,
Что им и море по колено,
Когда карман набит битком,
И где лабазник пьет, не тужит,
Вещает миру он всему,
Что он дотоле с богом дружит,
Пока тот милостив к нему,
Где, как в игрушку, в жизнь играют,
Обставив скаредный уют,
Где детям петь не позволяют
И небо видеть не дают,
Где людям не во что одеться,
Где за душой — одни портки,
Где старики впадают в детство,
А дети метят в старики, —
Пусть я хотел, хотел до боли
Пересказать все чередом,
Я не сказал и сотой доли
Того, чем славен этот дом.

Его я видел на экране,
Он в сквозняке, он весь продрог.
Тот дом один стоит на грани,
На перекрестке двух эпох.

• • • • •

1938

* * *

В тот день, когда я был еще не твой,
В содружестве с кочевьем и вокзалом
Я думал жизнь прожить, а под Москвой
Еще был лед и пахло снегом талым.

Еще с утра по дачным этажам
Летел галдеж, детей душила зависть,
И гребни льдин, подобные ножам,
Еще в речные отмели вонзались.

Еще художник, холст в окне развесив,
Соразмерял свой вид на карандаш,
Чтоб догадаться, был ли интересен
Плашмя на землю брошенный пейзаж.

И, может быть, того весна хотела,
Чтоб в этот день, без повода, без дела
Бродя по комнатам, не видя зла ни в чем,
Стекло в окне, в которое глядела,
Ты продавила розовым плечом.

1940

ОТЕЛЛО

Пусть люди думают, что я трамвая жду,
В конце концов кому какое дело,
Что девушка сидит в шестом ряду
И равнодушно слушает «Отелло».

От желтой рампы люди сатанеют.
Кто может девушке напомнить там,
Что целый год ищу ее, за нею,
Как этот мавр, гоняясь по пятам.

Когда актеры позабыли роли
И — нет игры, осталась лишь душа,
Партер затих, закрыл глаза от боли
И оставался дальше не дыша.

Как передать то содроганье зала,
Когда не вскрикнуть было бы нельзя.
Одна она с достоинством зевала,
Глазами вверх на занавес скользля.

Ей не понять Шекспира и меня!
Вот крылья смерть над сценой распростерла,

И, Кассио с дороги устрани,
Кровавый мавр берет жену за горло.

Сейчас в железы закуют его,
Простится он со славой генерала,
А девушка глядела на него
И — ничего в игре не понимала.

Когда ж конец трагедии? Я снова
К дверям театра ждать ее иду.
И там стою до полчаса второго.
А люди думают, что я трамвая жду.

1938

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее — такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести
Войти, как новых драм зачатые.
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
Крамольной тьмы. Потом опять
Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа.

Не помнить снов. Хотя б крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сызнова начать.

Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, не досчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не достигал, —
Найти вещей извечные основы.
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество мое!

1939

ВОКЗАЛ

1

Зимою он неподражаем.
Но почему-то мы всегда
Гораздо чаще провожаем,
Чем вновь встречаем, поезда.
Знать, так положено навеки:
Иным — притворствовать,
А мне —
Тереть платком сухие веки
И слезно думать о родне.
Смотреть в навес вокзальной крыши
И, позабывшись, не расслышать
Глухую просьбу: напиши...
Здесь все кончается прощаньем:
Фраз недосказанных оскал,
Составов змейных содроганье
И пассажирская тоска.
Здесь постороннему —
лишь скука,
Звонки да глаз чужих ожог.

Здесь слово старое — «разлука»
Звучит до странности свежо.
Здесь каждый взгляд предельно ясен

И все ж по-своему глубок.
Здесь на последнем самом часе
Целуют юношей в висок.
А пожилых целуют в проседь
(Гласит мораль житейских уз),
Поцеловать
 здесь значит: сбросить
Воспоминаний тяжкий груз.

2

А я, нагрузив чемоданы,
Как будто сердце опростав,
Вдруг узнаю,
Что прибыл рано
И что не подан мой состав,
И вот
Ходи вдоль длинных скосов
Вокзальных лестниц
 и сумей
Забуть, что нет русоволосой
Последней девушки твоей.
И пусть она по телефону
С тобой простилась утром.
Пусть.
Ты ходишь долго по перрону,
В словах нащупывая грусть.
На слух, по памяти слагаешь
Прощальный стих... И вот опять
Ты с болью губы отрываешь
От губ,
Которых не видеть...

Но лучше —
В суতোлке, в гоне
С мотива сбившихся колес
Забывать, закутавшись, в вагоне
Весенний цвет ее волос.
Ловить мелодию на память
И, перепутав имена,
Смотреть заснувшими глазами
В расщеп вагонного окна.

3

Когда прощаются, заметьте,
Отводят в сторону глаза.
Вот так и с нами было.
Ветер
Врывался в вечер, как гроза.
Он нас заметил у калитки
И, обомлев на миг, повис,
Когда как будто по ошибке
Мы с ней, столкнувшись, обнялись.

1938

СМЕРТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

В шершавом, вкривь подписанном конверте
Ему доставлен приговор, и он
Искал слова, вещавшие о смерти,
К которой был приговорен.
Пришли исполнить тот приказ,
А он еще читал,
И еле-еле
Скупые строчки мимо глаз,
Как журавли, цепочками летели.
Не так ли он при свете ночника
Читал мальчишкой страшные романы,
Где смерть восторженно прятка,
Как разговор, услышанный с экрана.
Он не дошел еще до запятой,
А почему-то взоры соскользали
Со строчки той, до крайности крутой.
В которой смерть его определяли.
Как можно мыслью вдаль не унести,
Когда глаза, цепляясь за жизнь,
Встречают только вскинутое дуло.
Но он решил, что это пустяки,
И, будто позабыв уже о смерти,

Не дочитав томительной строки,
Полубовался краской на конверте
И, встав во весь огромный рост,
Прошел, где сосны тихо дремлют.
В ту ночь он не увидел звезд:
Они не проникали в землю.

1938

* * *

Здесь все не так.
Здесь даже день короткий.
У моря тоже свой диапазон.
И мнится мне — моя уходит лодка,
Впиваясь острым краем в горизонт.
Я буду плыть. Забуду дом и берег,
Чужие письма, встречи, адреса,
Забуду землю, где цветут поверья,
Где травы меркнут раньше, чем леса.
Мне только б плыть,
Мне надо очень мало:
Простор и море, искорку огня
Да имя то, которым называла
Ты у шального берега меня.
Вот и сейчас мне мнится —
На закате
Уходит лодка. Верный взмах весла.
И тот же голос слышится, и платье
То самое, в котором ты была.
Придет гроза,
И встанет ночь в прибое.

Последний довод к жизни истребя,
Доколе плыть я буду за тобою,
За светлым небом, блузкой голубою?
Иль, может, вовсе не было тебя?

1939

* * *

Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... И опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

1940

* * *

Я был ее. Она еще все помнит
И скрип дверей и поворот ключа,
Как на руках носил ее вдоль комнат,
Стихи про что-то злое бормоча.
Как ни хитри,
Она еще не смела
Забыть тот шепот,
Неземную блажь,
И как бы зло она ни поглядела,
Ты за нее не раз еще отдашь
И сон, и музыку,
И книги с полки,
И даже верность будущей жены.
Она твоя, пока еще ты молод
И нет в твоём уюте тишины.

1940

В ВАГОНЕ

Пространство рвали тормоза.
И пока ночь была весома,
Все пассажиры были за
То, чтоб им спалось как дома.

Лишь мне не снилось, не спалось.
Шла ночь в бреду кровавых марев
Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь
Гнетущий привкус дымной гари.

Все было даром, без цены,
Все было так, как не хотелось, —
Не шел рассвет, не снились сны,
Не жглось, не думалось, не пелось.

А я привык жить в этом чреве:
Здесь все не так, здесь сон не в сон.
И вся-то жизнь моя — кочевье,
Насквозь прокуренный вагон.

Здесь теснота до пота сжата
Ребром изломанной стены,

Здесь люди, словно медвежата,
Впоевалку спят и видят сны.

Их где-то ждут. Для них готовят
Чай, постели и тепло.
Смотрю в окно: ночь вздохи ловит
Сквозь запотевшее стекло.

Лишь мне осталось грустить.
И, перепутав адрес твой,
В конце пути придумать стих
Такой тревожный, бредовой...

Чтоб вы, ступая на перрон,
Познали делом, не словами,
Как пахнет женщиной вагон,
Когда та женщина не с вами.

1939

* * *

Все к лучшему. Когда прошла гроза,
Когда я в сотый раз тебе покаюсь,
Мне не страшны ни плечи, ни глаза,
Я даже губ твоих не опасуюсь.

Начнешь злословить? Пригрозишь отравой?
Про нашу быль расскажешь людям ложь?
Иль пронесешь за мной худую славу
И подлецом последним назовешь?

Мне кажется, что не пройдет и года,
Как в сумерки придешь ко мне опять
Зачем-то долго медлить у комода
И пепельницей в зеркало бросать.

Почто дается буйство милым людям?
Когда пройдет оно и, наконец,
Мы все пойдем и больше бить не будем
Ни пепельниц, ни стекол, ни сердец?

1940

* * *

Мне нравится твой светлый подбородок
И как ты пудру на него кладешь.
Мальчишку с девятнадцатого года
Ты театральным жестом обоймешь.

А что ему твое великолепье
И то, что мы зовем — сердечный пыл?
Дня не прошло, как в горячах на кепи
Мальчишка шлем простреленный сменил.

Ты извини его — ведь он с дороги.
В ладони въелась дымная пыльца.
Не жди, пока последние ожоги
Сойдут с его скуластого лица.

1940

* * *

Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне измятом, заткнутом за пояс.
По голове погладь меня рукой,
Примись ругать. Обратнo шли на поезд.

Будь для меня и небом и землей.

1940

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Как снег на голову средь лета,
Как грубый окрик: «Подожди!»,
Как ослепление ярким светом,
Был он внезапен. И дожди
Ушли в беспомыслие. Оставайтесь.
Подвиньте стул. Присядьте. Вот
Мы говорим о постоянстве,
А где-то рядом снег идет,
И нет ни осени, ни лета.
Лишь снег идет.

1940

* * *

Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тетке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя
Все то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.

1940

В ГРОЗУ

Он с моря шел, тот резкий ветер,
Полз по камням и бил в глаза.
За поворотом свай я встретил
Тебя. А с моря шла гроза.
Кричали грузчики у мола,
И было ясно: полчаса
Едва пройдет, как сон тяжелый,
И вздрогнет неба полоса.
И гром ударит по лебедкам.
Мне станет страшно самому.
Тогда, смотри, не выйди к лодкам:
В грозу и лодки ни к чему.
А ты пришла. Со мной осталась.
И я смотрел, запрятав страх,
Как небо, падая, ломалось
В твоих заплаканных глазах.
Смешалось все: вода и щебень,
Разбитый ящик, пыль, цветы.
И, как сквозные раны в небе,
Разверзлись молнии. И ты
Все поняла...

1939

КАК ВОРУЮТ НЕБО

Случайно звезды не украл дабы
Какой-нибудь праздный гуляка,
Старик никому не давал трубы,
Ее стерегла собака.

Был важен в службе хозяйский пес,
Под ним из войска теплый настил.
Какое дело кобелю до звезд
И до прочих небесных светил?

А небом старик занимался сам —
Ночью, когда холодеет воздух,
Он подносил его ближе к глазам
И рылся в еще не остывших звездах.

Мальчишки понять не могли засыпая:
Что ищет в небе старик ворожей?
Должно быть, ворота небесного рая,
А может быть, просто пропавших стрижей?

Он знал его лучше, чем тот квартал,
В котором живет, занимая флигель.

Он звезды, как годы, по пальцам считал —
О них он напишет умные книги.

А парень, на небо взглянув некстати,
Клялся, тербя у любимой ручонки,
Что завтра сошьет он из неба платье
И подарит его глупой девчонке.

А девушке — что?
Ей приятна лесь.
Дышит парень табачным дымом.
Она готова ни пить, ни есть,
Только б на звезды глядеть с любимым.

Старик не думал, что месяц спустя
В сыром убежище, где-то в подвале,
Куда его силой соседи прогнали,
Услышит, как глухо бомбы свистят.

...Рядом труба лежит без охраны:
Собаку убило осколком снаряда.
Тот парень погиб, говорят, под Седаном,
И девушке платья теперь не надо.

А небо — в плену у стальных ястребят,
Трамваи ищут, укрыться где бы...
О горе, старик, когда у тебя
Украли целую четверть неба!

1940

ПАРИЖ ВЕСНОЙ 1940 ГОДА

В такую ночь пройдохам снится хлеб,
Они встают, уходят в скверы раньше,
А жуликам мерещится все, где б
Пристроиться к веселой кастелянше.

Что им война, когда они забыли
Гостиницы, где сгнили этажи,
Где, если хочешь, с женщиной лежи,
А хочешь — человеку закажи
Подать вина, что родиной из Чили.

Что им теперь подзвездные миры,
Тяжба пространств, кометы-величины,
Коль нет у них ни женщины, ни чина,
А есть лишь положенье вне игры.

В ушах — все ливень, суетолака, гул,
И невдомек им, запропавшим пешим,
Что дождь давно в ту сторону свернул,
Где люди под зонтами прячут плечи.

Есть теплый шарф, цветные макинтоши,
Но не для тех, кто на бульваре наг,

Кто сытости, довольству верный враг,
Тем все равно: французы или боши.
Что победителю с таких бродяг?
У них отнимут отдых, а на кой
Им эта дрема и чужой покой?

Их выгонят на улицы под плети,
Они простудятся и будут спать во рву.
Но разве можно у таких, как эти,
Отнять родное небо и траву?

Не надо им отечества и короля,
Они в глаза не видели газеты,
Живут подачками, как будто для
Одних пройдох вращается земля
И где-то гибнут смежные планеты!

1940

ЛЕНИН

Вот снова он предстанет в жестах
Весь — наша воля. Сила. Страсть...
Кругом — народ. И нету места,
Где можно яблоку упасть.
Матрос. И женщина. С ней рядом,
Глаза взведя на броневик,
Щекой небритую к прикладу
Седой путиловец приник.
Он рот открыл. Он хочет слышать,
Горячих глаз не сводит он
С того, о ком в газетах пишут,
Что он вильгельмовский шпион.
Он знает: это ложь. Сквозная.
Такой не выдумать вовек.
Газеты брешут, понимая,
Как нужен этот человек
Ему. Той женщине. Матросам,
Которым снился он вчера,
Где серебром бросают осыпь
В сырую ночь прожектора...
И всем он был необходим.
И бредила — в мечтах носила —
Быть может, им и только им

В тысячелетиях Россия.
И он пришел... Насквозь прокурен
В квартирах воздух, кашель зим.
И стало сразу ясно: буря
Уж где-то слышится вблизи.
Еще удар. Один. Последний...
Как галька, были дни пестры.
Гнусавый поп служил обедни.
Справляли пасху. Жгли костры.
И ждали. Дни катились быстро.
Уж на дворе октябрь гостил,
Когда с «Авроры» первый выстрел
Начало жизни возвестил.

1937

* * *

Тогда была весна. И рядом
С помойной ямой на дворе,
В простом строю равняясь на дом,
Мальчишки строились в каре
И бились честно. Полагалось
Бить в спину, в грудь, еще — в бока.
Но на лицо не подымалась
Сухая детская рука.

А за рекою было поле.
Там, сбившись в кучу у траншей,
Солдаты били и кололи
Таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая,
Зачем туда сошлись полки:
Неужли взрослые играют,
Как мы, сходясь на кулаки?
Война прошла. Но нам осталась
Простая истина в удел,
Что у детей имелась жалость,
Которой взрослый не имел.

А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города,
И стала нужной кровь, которой
Мы так боялись в те года.

1940

ОТЦАМ

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.

Был стол в далекий угол отодвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.
Солдат худые, сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство...
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать. И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают

В дверях жандарм, солдаты и отец...
А дальше — путь сплошным туманом застлан.
Запомнил: только плыли облака
И пахло деревянным маслом
От желтого, как лето, косяка.

Ужасно жгло. Пробило все навывлет
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.
Потом войну кому-то объявили,
А вот кому — запомятовал дед.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами,
Глаза мои обращены на всех.

1938

ИЗБА

Косая. Лапами в забор
Стоит. И сруб сосновый воет,
Когда ветра в нутро глухое
Заглянут, злобствуя, в упор.
Зимой вся в инее и стуже,
Ослабив стекла звонких рам,
Живот подтягивая туже,
Глядит на северный буран.
Кругом безлюдье. Хоть кричи!
Стоит, как на дороге нищий.
И тараканы стаяй рыщут
В пустой отдушине печи.
Метели подползают ближе.
И вдруг рванут из-под плетня,
Холодным языком оближут
В хлеву хозяйского коня.
А сам хозяин, бледнолицый,
Окутан кем-то в белый холст,
Лежит в гробу на половицах,
В окамененье прям и прост.
В окошко свет скупой бросая,

Глядит луна в его судьбу,
И ветры жутко потрясают
Его сосновую избу.
Здесь, по соседству с белым гробом,
В ногах застывших мертвеца,
За полночь я родился, чтобы
Прославить мертвого отца.
Чуть брезжил свет в разбитых окнах.
Вставал заношенный до дыр,
Как сруб, глухой и душный мир,
Который был отцами проклят,
А нами перевернут был.

1938

БАЛЛАДА О ЧКАЛОВЕ

Всего неделю лишь назад
Он делал в клинике доклад.

Он сел за стол напротив нас,
Потом спросил: «Который час?»

Заговорив, шел напролом,
И стало тесно за столом.

И каждый понял, почему
Так тесно в воздухе ему.

И то ли сон, горячка то ль,
Но мы забыли вдруг про боль.

Понять нельзя и одолеть,
Как можно в этот день болеть.

Врачи забыли про больных,
И сестры зря искали их.

Йод засох и на столе
Лежал как память о земле,

Где людям, вышедшим на смерть,
Хоть раз в году дано болеть.

Докладчик кончил. И потом
Он раны нам схватил бинтом,

Он проводил нас до палат.
Ушел. И вот — пришел назад.

И врач склонился над столом,
Над ним — с поломанным крылом.

И было ясно, что ему
Теперь лекарства ни к чему.

И было тихо. Он лежал
И никому не возражал.

Был день, как он, и тих и прост,
И жаль, что нету в небе звезд.

И в первый раз спокойный врач
Не мог сказать сестре: «Не плачь».

1938

ПЕСНЯ

Ее сложил маляр, а впрочем,
Она, быть может, потому
Портовым нравилась рабочим,
Что за нее вели в тюрьму.
Ломали пальцы, было мало —
Крошили зуб, грозили сжечь.
Но и в огне не умирала
Живая песенная речь.
Матросы взяли песню эту
И из своей родной земли,
Бродя волной морской по свету,
В чужую землю завезли.
А тот маляр потом был сослан.
Бежал. На озере одном
Он пойман был, привязан к веслам
И вместе с лодкой шел на дно.
И, умирая, вспомнил, видно,
Свой край, и песню, и жену.

Такую песню петь не стыдно,
Коль за нее идут ко дну.

1939

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
Как ощущение вечной высоты,
Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано —
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути —
Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память ими взятой высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.

1938

ПАМЯТИ ПОЭТА

Воспоминания

ПАРТИЯ

АТЕОП НТРМАН

Содержание

Содержание

1. Введение
2. Глава I
3. Глава II
4. Глава III

5. Глава IV
6. Глава V
7. Глава VI
8. Глава VII
9. Глава VIII

Д. ДАНИН

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ МАЙОРОВА

Кто-то сказал о встречах военных лет: «И незабываемое забывается». Это невесело, но правда. Однако правда и другое: когда незабываемое вспоминается, оно оживает для нас во всей своей первоначальной цельности. Это оттого, что оно тайно живет в наших душах, не изменяясь с годами. Завершенное, оно уже не может измениться.

Скоро двадцать лет, как университетские друзья Николая Майорова с ним не виделись. Исправить тут никто ничего не сумел бы. Этому сроку предстоит только увеличиваться. Но законы перспективы, ненарушимые в пространстве, к счастью, могут нарушаться во времени. Отдаляясь, образ Коли Майорова не уменьшается и не тускнеет. А то, что стирается в памяти, наверное, никогда и не было существенным.

Во все времена повторяется одно и то же: молодые поэты, ищущие себя и жаждущие понимания, находят других, таких же ищущих и жаждущих, по незримому и неслышному пеленгу, который неведом посторонним. (Так в человеческом водовороте столицы любые коллекционеры каким-то образом вылавливают себе подобных — по случайному слову, что ли, по жесту, по

оценивающему взгляду?..) Когда осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице Герцена собралась на первое регулярное занятие студенческая литгруппа, Коля Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Будущие биологи и географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И все уже что-то знали друг о друге. Помню, как из разных углов раздались уверенные голоса:

— Пусть почитает Майоров, истфак!

И он встал где-то сбоку, этот «Майоров, истфак», и начал читать. Крепко стиснутым кулаком он словно бы расчищал живой мысли стихотворения прямую дорогу через обвалы строф. И сразу стало очевидно — это будет «первая ракетка» в поэтической команде университета.

Так оно и было до самой войны.

Не для традиционного сопоставления скромности и таланта сказал я, что Николай Майоров был незаметен в пестрой аудитории. Просто захотелось вспомнить, как он выглядел — каким показался. Он поразительно не был похож на поэта, как не был похож на «служителя муз» Николай Заболоцкий. Ничего завидного во внешности, ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего. Может быть, это экономная природа не наделяет настоящее достоинство лишними одеждами? Они ведь ему не нужны. Впрочем, это сомнительный закон — слишком много из него исключений. Но Коля Майоров был выразительнейшим его подтверждением.

Нет, он не был скромен:

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.

Он знал, что он поэт. И, готовясь стать историком, прежде всего утверждал себя как поэт. У него было на это право.

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал, как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксера. Он легко возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках поэзии был резко определен. Он не любил в стихах многоречивой словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надежного полета ей нужны тяжелые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался писать свои стихи — земные, прочные, годные для дальних перелетов.

...Я полюбил весомые слова.

Он полюбил их, когда было ему около двадцати. А в двадцать три его уже не стало. Он успел сделать немного: его литературное наследство — это сто страниц, три тысячи строк. Но все, что он считал законченным, — настоящее. Он был весь обещание. И не потому только, что природа дала ему талант, а воспитание — трудо-способность. Он очень рано осознал себя поэтом своего поколения — глашатаем того предвоенного поколения, которое пришло к поре начинающейся зрелости в конце 30-х годов. Он чувствовал себя тем «шальным

трубачом», о котором прекрасно написал в стихотворении «Мы»:

...Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.

...И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил...

Это написано до войны. И это написано поэтом, который недаром хотел стать историком. Он уже был им — историком без диплома, историком не столько по образованию, сколько по чувству и предчувствию времени.

Еще меньше, чем на поэта, Николай Майоров был похож на плакатного героя. Но и героем он стал таким же, как и поэтом, — настоящим. Он умер, как сам предсказал, — в бою.

Мальчик, родившийся в девятнадцатом году на Волге, под Сызранью, погиб совсем еще юношей в сорок втором под Смоленском. Доброволец-пулеметчик погиб, не докурив последней папиросы, не дописав последнего стихотворения, не долюбив, не дождавшись книги своих стихов, не окончив университета, не доучившись в Литературном институте, не раскрыв всех возможностей, какие сам в себе прозревал... Все в его жизни осталось незавершенным, кроме ее самой. Но стихи его, сработанные для дальнего полета, продолжают свой рейс: у них сильные крылья — такие, как он хотел.

Уходя, он точно предупредил, что останется неотъемлемой частью пережитого нами. Так оно и случилось. Он вошел в разряд незабываемого. И навсегда помнится, что он был.

И. ПТАШНИКОВА

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

ЦСГ — знаменитое общежитие на Стромынке, Огаревка — студенческая столовая на улице Огарева, Горьковская читальня под куполом — места, памятные и дорогие не одному поколению студентов.

После лекций, которые бывали обычно с утра, в первой половине дня, университетское студенчество, мы, историки в частности, шли обедать в какую-нибудь из ближайших столовых, чаще всего в Огаревку. А после обеда занимались до позднего вечера, обычно до их закрытия, то есть часов до 10, в читальном зале на мехмате — на 3-м этаже старого здания университета или в Горьковской читальне под куполом — там же, на Моховой.

Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с Колей Майоровым: наши места в читальне оказались случайно рядом. Впрочем, «познакомились» сказано не очень точно: мы с Николаем знали друг друга и раньше, были в одном практикуме, в одной языковой группе и к тому же были соседями по общежитию, но знали друг друга внешне, со стороны, не проявляли интереса. А тут нашли общие интересы, как-то легко разговорились. И возвращались из читальни домой уже вместе.



Н. Майоров. 1940 год.



Н. Майоров. Рисунок Н. Шеберстова. 1939 год.

Темой нашего разговора были чьи-то стихи, напечатанные в университетской газете.

Позднее эта тема — поэзия — никогда не могла иссякнуть, хотя появилось и много других интересных для обоих тем.

Поражала его удивительная работоспособность. Несмотря на то, что по учебной программе нужно было перечитывать буквально горы книг, что приходилось просиживать в читальнях и по воскресеньям, Коля успевал очень много писать. Почти каждый вечер он читал новое стихотворение.

Коля легко запоминал стихи и любил на память читать стихи любимых поэтов.

Помню его увлечение Блоком и Есениным и в то же время — Уитменом. Помню период особенного увлечения Маяковским. Он даже подражать ему начал (эти стихи не сохранились).

Из современников очень любил Твардовского.

* * *

...Война подступала все ближе и ближе. Коля очень глубоко переживал судьбу товарищей, побывавших на финской войне. Помнится, он рассказывал о ранении Сергея Наровчатова, гибели Арона Копштейна. Их он знал по Литинституту (тяжело ранен был его школьный друг Володя Жуков, тоже поэт).

Мне кажется, что именно под влиянием этих событий и переживаний создано одно из самых сильных стихотворений Коли Майорова — «Мы».

* * *

Наступила последняя наша студенческая мирная зима 1940/41 года. Опять лекции, занятия в читальне, посещения литературного кружка. Нагрузка у Коли была очень большая: ведь он учился и в Литинституте, да и на истфаке в этот год работы было много.

В этот год Коля особенно много писал, и именно стихов этого периода почти не сохранилось.

В конце 1940 года он закончил большую и, пожалуй, лучшую свою поэму «Ваятель».

Судя по письму, которое я получила от него (подписано 19 июля), замысел поэмы возник у Коли в поезде, по дороге в Иваново — на летние каникулы. Он писал:

«...Приятно лежать на спине и пускать кольца дыма в потолок вагона... Кончил курить. Голова чуть кружилась. Медленно нащупывались какие-то отдельные строчки, потом сон брал свое, слова куда-то проваливались, а память их снова возвращала... Снова навязывались целые строфы. Полез за записной книжкой, а то забуду. Записал. Писать было трудно — вагон качало. Получилось вот что.

Творчество

Есть жажда творчества, умение созидать,
На камень камень класть, вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Нести всю тяжесть каждодневных бдений...»

И дальше — тот самый кусок (без четырех последних строк и с некоторыми разночтениями), который печатается теперь как стихотворение «Творчество».

Припоминаю еще несколько строк из поэмы, которые, мне кажется, я не видела среди стихов, собранных В. Н. Болховитиновым:

...А небо будет яростно и мглисто
Пылить с боков
Снежком голубизны...
Быть может, ты
Неопытным туристом
Сорвешься с той
Проклятой крутизны,
Но ты не трусь!
Назад тебе — ни шагу!
Грозит обвалом
Каждый поворот.
И не убив —
Не прячь обратно шпагу,
И падая,
Ты сделай шаг вперед!

.
Ведь сущность жизни
Вовсе не в соблазне,
А в совершенстве форм ее и в том,
Что мир грозит,
Зовет тебя и дразнит,
Как женщина с ума сводящим ртом...

Пришла зрелость, стихи становились все своеобразнее и отточеннее. Его стихи этого периода трудно

спутать с чьими бы то ни было — он говорил собственным голосом, только ему одному присущими словами. Но тут грянула война...



Окна Горьковской читальни на Моховой, где мы готовились к очередному экзамену по диамату, были широко открыты. И не все сразу поняли, что же произошло, когда с площади донеслась передаваемая всеми радиостанциями Союза грозная весть. Но все, один за другим, вдруг поднялись и вышли на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа. Война!.. Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии поднятое к репродуктору, по нему текли слезы. Мы же в тот момент еще не вполне реально представляли, что нас ждет.

У нас с Николаем в это время как раз была размовка. Увидев друг друга, мы даже не подошли, поздоровавшись издали. И только через несколько дней, когда всем курсом девушки провожали ребят на спецзадание, мы вдруг осознали всю серьезность, весь ужас происходящего.

Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты.

Помню Николая в этот момент — высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами... Что видел он там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении «Мы»? Может быть, именно в тот момент он

особенно ясно понял это, почувствовал, что «Мы» — это стихи о нем самом, о его товарищах, что «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», в бой за мир и счастье, в бой, который помешал им прожить большую жизнь и дойти до потомков в бессмертных творениях, а не только в «пересказах устных да в серой прозе наших дневников...».

Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-нибудь тяжелое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча...

* * *

Многих студенток 4-го курса отправили на работу по специальности. Я попыталась было попасть на фронт, но из-за сильной близорукости меня не пропустила медкомиссия. Тогда я получила назначение на работу и уехала в Ташкент. Адреса Николая я не знала и, уезжая, оставила ему открытку по адресу его друга, студента художественного института Н. Шеберстова. В ответ я получила от Николая несколько писем из армии. Ни одно из них не имело обратного адреса.

Это очень хорошие письма, душевные и трагичные, очень характерные для Николая. В одном письме он писал:

«...Ты желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь. Но что смогу — сделаю».

Человек очень скромный, даже застенчивый, лишенный малейшей рисовки и показного, скорее гражданский, чем военный, Коля Майоров в то же время

был наделен большой внутренней силой, мужественной убежденностью, которые прорывались наружу, когда он читал свои стихи.

Мне рассказывали уже после войны, что Коле предлагали поехать учиться в Ярославское военное училище. Буквально в последнюю минуту отказался он и от возможности отправиться на фронт с агитбригадой, куда его устроили было.

Он выбрал бой, передовую. Он не мог иначе.

В марте 1942 года в ответ на мое письмо родные Николая написали мне, что получено извещение о его гибели: «Убит 8 февраля 1942 г. и похоронен в деревне Баренцово Смоленской области». Много лет я хотела разыскать эту деревню, но только летом 1958 года попробовала это осуществить.

Ни одной деревни Баренцово в Смоленской области не оказалось, нет ее и в тех районах Смоленщины, которые отошли к Калужской области после войны. Есть на Смоленщине, в 20 километрах к югу от Гжатска, деревня Баранцево, состоящая всего из нескольких старых изб. Там мне показали сровнявшуюся с землей могилу двух советских солдат, убитых в конце зимы 1942 года. Но кто они — неизвестно. Вполне возможно, что один из них и был Николай Майоров, политрук пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии. В платежной ведомости этого полка за февраль Майорову причиталось что-то получить, но подписи его нет... Он ведь был убит 8 февраля. (Об этом я узнала в архиве Советской Армии в Подольске летом 1958 года.)

Не удалось разыскать и однополчан Коли, которые могли бы сказать, как он погиб и где похоронен.

Два года назад в газетах и по радио заговорили о подвиге Саши Виноградова и его одиннадцати товарищей, погибших под Москвой, на 152-м километре Минского шоссе в феврале 1942 года. А ведь Коля Майоров воевал тоже в тех местах и примерно в то же время. Может, выход книги Коли Майорова поможет разыскать его однополчан, выяснить подробности его последних дней.

* * *

И еще одна, пожалуй, наиболее важная задача: как найти пропавшие стихи и поэмы Николая, как узнать, где он оставил свои вещи, уходя добровольцем в армию 19 октября 1941 года.

В первый день войны к Коле из Иванова приезжал его младший брат, Александр. Было ему тогда лет семнадцать. Он вспоминает, как вместе с братом заходил к одному товарищу, у того лежал Колин чемодан с книгами, и Николай просил брата увезти некоторые книги домой. Александр предложил забрать все, но Николай только рукой махнул: до барахла ли теперь?

Были поиски, были догадки, но без результата... Но, видимо, не все еще потеряно — не все еще возможности проверены.

* * *

Коля Майоров обещал многое. Поэт яркого, самобытного таланта и исключительной трудоспособности, он рос буквально на глазах. И не его вина, что так мало удалось донести до людей. Но и это немногое не забудется, как не забудутся и те, что в бои «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы».

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

ДРУГ

Написать о Коле Майорове — значит поверить в то, что свершилось, и навсегда проститься с ним. Может, потому до сих пор и не было о нем печатного слова.

...А я все вижу, как, постепенно скрываясь в полумраке, затихает наш школьный зал. Не знаю почему, но так делали всегда — выключали «лишний свет», когда начинался литературный вечер. Может, чтоб меньше стеснялись наши поэты. Страшно было выходить перед товарищами со своими стихами. И это лучше, чем мы, понимала наша добрая учительница русского языка Вера Михайловна Медведева, всю свою любовь и знания отдававшая родной школе и нам. Это ее заботами и стараниями долгие годы в 33-й ивановской средней школе выходила лучшая в городе литературная стенная газета, плодотворно работали литературно-творческий и драматический кружки.

Не сразу воцарялась тишина, не вдруг кончалась «торговля»: никто из школьных поэтов — учеников 7—10-х классов — не хотел выходить первым. Чаще других вечер приходилось открывать Коле Майорову.

Застенчивый, по-хорошему степенный и угловатый, становился он в дверном проеме из класса в зал и, опустив глаза, глуховатым голосом объявлял название своего нового стихотворения. Среди школьников, пробующих силы в поэтическом слове, он пользовался всеобщим уважением: в его поэтическом хозяйстве уже было свыше десятка тетрадей стихов. Тетради эти, с любовью оформленные, в красочных обложках, целы до сих пор, а тогда они ходили по рукам из класса в класс. Их читали и перечитывали. Обложки к ним делал его одноклассник и друг Коля Шеберстов, нередко и сам выступавший в качестве поэта и, насколько мне известно, по сей день, будучи заметным художником-графиком, пишущий, но почему-то так и не печатающий своих стихов.

Уже в ту пору стихи Николая Майорова были не похожи на все то, что читалось на вечерах, публиковалось в стенной газете. Ни в разговорах, ни тем более в стихах — своих и чужих — он не переносил общих слов. Строки его всегда отличало раздумье.

Природный ум, постоянная дружба с книгой заметно выделяли его среди сверстников. На учебные дела, которые, кстати сказать, всегда шли отличнейшим образом, на жизнь он смотрел по-взрослому серьезно. Это и притягивало к нему многих, скрепляло крепкой и бескорыстной дружбой.

Писал он много и увлеченно. Но поэтом быть не собирався, считая, что писателем может быть только человек по-настоящему талантливый, такого ряда, к какому себя не причислял.

И когда настало время выбирать вуз, пошел на

исторический факультет. К истории он всегда относился с особым интересом и уважением.

Будучи в Москве, он не порывал с родной школой. В стенной «Литгазете» все так же появлялись его стихи, только уже не от руки написанные, а три или четыре стиха в газетных вырезках из университетской многотиражки, литотдел которой редактировал в ту пору «замечательный парень Виктор Болховитинов».

Это «Часы», «В Михайловском», «Быль военная», написанные еще до поступления в университет, летом 1937 года.

Ч а с ы

Я не знаю, час который.
Летний день уходит в дым.
Может, нам расстаться скоро,
Может, часик посидим?
Против озера большого
У смеющейся воды
Запоем с тобою снова,
Что мы оба молоды.
Не гляди в часы. Не надо.
Я часам твоим не рад.
Ниагарским водопадом
Брызги времени летят.
И подумай — кто осудит?
Прогуляем до росы.
Может, бросим и забудем
Расставанье и часы?
С ветром ночь уже шепталась,

Падал с трав кристалл росы.
Но любовь не умещалась
Ни в слова и ни в часы.

В Михайловском

Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо вьюга
Стучится в ставни.

И опять

Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрывать глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошенные бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забывшей женщины, и ссылки,
И все, чем жизнь еще пестра,
Как жизнь восточного гарема.
...И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.

Быль военная

Ночь склонилась над рожью,
Колос слепо ловит тьму.
Ветер тронул мелкой дрожью

Трав зеленую кошму.
Тишина котенком бродит
От реки до дальних троп.
У соседки в огороде
Дремлет ласковый укроп.
Мой товарищ курит трубку,
Говорит не торопясь.
О боях, о жаркой рубке
Начинается рассказ.
Только вот глаза прикрою,
Память снова говорит.
Под днепровскою волною
Не один товарищ спит.
И пройди по всем курганам —
Бой кровавый не забудь,
И курганы носят раны
От снарядов и копыт.
Мы не раз за трубкой вспомним
Быль военную годов,
Как в упор в каменоломню
К нам тянулось семь штыков.
Как прорвались мы гранатой —
Все снесли в огонь и дым.
Даже мост спиной горбатой
Встал в испуге на дыбы.
...Мой товарищ, мой ровесник,
Мой любимый побратим,
Этой славы, этой песни
Никому не отдадим.

Кстати, о печатанье стихов. При жизни Николай Майоров напечатал не больше 4—5 стихотворений. На-

печататься, выйти в свет он никогда не старался, считая, что настоящие стихи, если они будут, — впереди.

Требовательный к себе, он не искал легкого успеха. А уж в ту пору его стихи были на редкость зрелыми, крепкими, выгодно отличались от «поэтической продукции» сверстников.

Помнится, году в 38-м в наших местах (а жили мы на окраине Иванова) разбился самолет. Весь личный состав погиб.

На другой день на зеленом Успенском кладбище состоялись похороны. В суровом молчании на холодный горький песок первой в нашей мальчишеской жизни братской могилы военные летчики возложили срезанные ударом о землю винты самолета.

А вечером Коля читал стихи, которые, помнится, заканчивались строфой:

Вот если б все с такою жаждой жили,
Чтоб на могилу им взамен плиты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы...

Событие это оставило в его душе неизгладимый след. Чуткий и отзывчивый к людям, он превыше всего ставил в человеке мужество и прямоту. Тема бесстрашия, гуманизма, преданности делу навсегда осталась для него ведущей.

Стихи о памятнике, как и многие другие, опубликованы не были. Несмотря на дружеские советы, автор в редакцию их так и не отнес.

— О жизни и смерти — это очень трудно... Надо так написать, как я не могу, — горячо доказывал он.

На традиционные встречи с бывшими воспитанниками 33-й школы в дни зимних и летних каникул он приезжал буквально набитый стихами. К тому времени, с 39-го года, Коля Майоров параллельно с историческим факультетом посещал семинарские занятия в Литературном институте. У него были две зачетные книжки, и тут и там он шел отлично.

С любовью, горячо рассказывал Коля о поэтическом семинаре Павла Антокольского, на память читал стихи своих московских друзей.

Для нас, младших поэтов, тех, кто еще оставался в школе, эти встречи были настоящим праздником: ведь он видел и знал многих настоящих живых поэтов! Разговоры завязывались горячие: об искусстве, о литературе — и в том и в другом знания он обнаруживал основательные, удивительные для студента. Если кто «зарывался», с полки немедленно снимался том Лермонтова, Пушкина или Есенина — смотря по обстоятельствам. Время пролетало незаметно.

* * *

Особенно плодотворными были для Майорова 39-й и 40-й годы. Он пишет две большие поэмы — «Ваятель» и «Семья» — и множество стихов.

В записях, оставшихся у родителей, случайно сохранился один небольшой (подлинность его подтверждает и В. Болховитинов) отрывок из поэмы «Семья», поэмы о годах коллективизации: кулак Емельян — один из главных персонажей — бежит из деревни. Несколько строк из большой картины.

* * *

На третьей полке сны запрещены.
Худой, небритый, дюже злой от хмеля,
Спал Емельян вблизи чужой жены
В сырую ночь под первое апреля.
Ему приснилась девка у столба,
В веснушках нос, густые бабьи косы.
Вагон дрожал, как старая изба,
Поставленная кем-то на колеса.

Ко времени работы над поэмой «Семья» относятся и нижеприведенные фрагменты, которые печатались недавно как отдельные стихи.

Д е д

Он делал стулья и столы
И, умирать уже готовясь,
Купил свечу, постлал полы
И новый сруб срубил на совесть.
Свечу поставив на киот,
Он лег поблизости с корытом
И отошел. А черный рот
Так и остался незакрытым.
И два громадных кулака
Легли на грудь. И тесно было
В избенке низенькой, пока
Его прямое тело стыло.

Что я видел в детстве

Косых полатей смрад и вонь.
Икона в грязной серой раме.
И среди игрушек детский конь
С распоротыми боками.
Гвоздей ворованных полсвязки.
Перила скользкие. В углу
Оглохший дед. За полночь — сказки.
И кот, уснувший на полу.
Крыльцо, запачканное охрой.
И морды чалых лошадей.
Зашитый бредень. Берег мокрый.
С травой сцепившийся репей.
На частоколе черный ворон
И грядка в сорной лебеде.
Река за хатю у бора,
Лопух, распластанный в воде.
Купанье — и попытка спеться.
На берегу сухая дрожь.
Девчонка, от которой ждешь
Улыбки, сказанной от сердца.

...Все это шло, теснилось в память,
Врывалось в жизнь мою, пока
Я не поймал в оконной раме
В тенетах крепких паука.
О, мне давно дошло до слуха:
В углу, прокисшем и глухом,
В единоборстве билась муха
С большим мохнатым пауком.
И понял я, что век от века,



Н. Майоров. Рисунок Н. Шиберстова. 1939 год.



Н. Майоров. 1938 год.



Н. Майоров и К. Титов. 1938 год.

Не вняв глухому зову мук,
Сосал, впиваясь в человека,
Огромный холеный паук.

И я тогда, давясь от злобы,
Забыв, что ветер гнал весну,
Клялся, упершись в стенку гроба,
В котором отчим мой уснул.
Клялся полатями косыми,
Страданьем лет его глухих,
Отмщеньем, предками босыми,
Судьбой обиженного сына,
Уродством родичей своих, —
Что за судьбу, за ветошь бедствий
Спрошу я много у врага!

Так шло, врывалось в память детство,
Оборванное донага.

От большой поэмы «Ваятель» остался один отрывок, подлинность которого не подлежит сомнению, он печатается как стихотворение под названием «Творчество». Другой отрывок — не очень точный — приводится Ириной Пташниковой.

По-видимому, к первоначальным вариантам поэмы относится и приводимый ниже отрывок, который рукой же Майорова датируется 38-м годом.

* * *

Никто не спросит, не скостит,
Не упрекнет обидным словом,

Что стол мой пятнами изрыт,
Как щеки мальчика рябого.

Я спал на нем. Кому-то верил.
И писем ждал. Знать, потому,
Захлопнув поплотнее двери,
Я стал завидовать ему.

Живу с опаской. Снов не знаю.
Считаю даты. Жду весны.
А в окна, будто явь сквозная,
Летят, не задевая, сны.

Проходят дни, и все короче,
Все явственней и глуше мне
Поет мой стол, и чертят ночи
Рисунок странный на стекле.

И в тонких линиях ваянья,
Что ночь выводит по стеклу,
Так много слез и обаянья,
Пристрастья вечного к теплу, —

Что я теряюсь и немею.
Я нем почти. Почти в снегу.
Сказать хочу — и не умею,
Хочу запеть — и не могу.

Ко времени работы над поэмами относятся и следующие стихотворные наброски, сохранившиеся в черновых записях поэта.

* * *

Как жил, кого любил, кому руки не подал,
С кем дружбу вел и должен был кому —
Узнают всё,
Раскроют все комоды,
Разложат дни твои по одному.

* * *

Мне только б жить и видеть росчерк грубый
Твоих бровей. И пережить тот суд,
Когда глаза солгут твои, а губы
Чужое имя вслух произнесут.
Уйди. Но так, чтоб я тебя не слышал,
Не видел... Чтобы, близким не грубя,
Я дальше жил и подымался выше,
Как будто вовсе не было тебя.

1939

* * *

Я знал тебя, должно быть, не затем,
Чтоб год спустя, всему кладя начало,
Всем забытьем, всей тяжестью поэм,
Как слез полон, ты к горлу подступала,

Чтоб, как вина, ты после долго жгла
И что ни ночь — тобою б только мнилось,
Чтоб лишь к концу, не выдержав, могла
Оставить блажь и сдаться мне на милость,

Чтоб я не помнил этой тишины,
Забыл про сны, про небо и про жалость,
Чтоб ни угла, ни окон, ни жены
Мне на твоей земле не оставалось.

Но всё не так. Ты даже знать не можешь,
Где началась, где кончилась гроза.
Не так солжешь, не так ладонь положишь,
Совсем по-детски поглядишь в глаза.

А я устал. За мною столько лестниц.
Я перешел ту верную межу,
Когда все мысли сходятся на песне,
Какой, должно быть, вовсе не сложу.

1939

Горько об этом говорить, но почти все эти стихи и обе поэмы утрачены: они остались в Москве, в общезжитии, когда Коля Майоров уходил на фронт, и пропали вместе со всеми его вещами. А между тем эти стихи и поэмы давали основания верить, что в лице Коли Майорова в советскую поэзию приходил большой поэт.

* * *

И вот грянула Великая Отечественная. Почерневший и посуровевший, с обострившимися скулами появился Коля Майоров в Иванове летом 41-го. Вместе с другими студентами он копал противотанковые рвы где-то под Ельней. На этот раз недолго ему довелось пробывать дома. Из Москвы телеграммой извещали, что

на его имя пришла повестка из военкомата (это в ответ на его заявление). Сообщение он встретил как должное.

...Вещь за вещь извлекались из сундука армейские сапоги, гимнастерка, темно-синие галифе. Меня это крайне удивило. И я, помню, сказал ему об этом.

— Ничего удивительного. Время такое! Сейчас и портянки найдем и портупею, — говорил он, а за переборкой плакала мать.

— Да ты не думай, что вперед глядел. Это все Алексея, ты же знаешь.

Старший брат Николая, Алексей, летчик-истребитель, был уже в деле.

Наконец все было найдено и надето. Я помог ему застегнуть портупею. С гражданской жизнью было покончено...

Я получил от него одну-единственную открытку: с марша на передовую — наспех, карандашом он сообщал, что и как. Обещал писать и дальше.

Но почти в каждую семью приходили повестки из райвоенкоматов. Пришла повестка и на мое имя.

Только вернувшись с войны, в 1945 году, я узнал, что больше нет Коли Майорова. Но и теперь, за огромной дальностью времени, в это не верится.

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

МАЙСКИМ ДНЕМ

Помню солнечный майский день 1940 года. При журнале «Молодая гвардия» существовало литобъединение, собиравшееся раз в неделю. Помню, молодые поэты, которые очень не любили, когда их называли молодыми, читали свои стихи. В тот солнечный майский день читали стихи многие поэты. Большинство из них демонстрировало незаурядную поэтическую технику. Стихи слушались с интересом, но не трогали. Чего-то им не хватало.

Одним из последних выступил Майоров, истфак университета — так его представили. Меня его стихи захватили, увлекли: у него в стихах было то, чего явно не хватало другим. Стихи Майорова подкупали своей жизненной правдой. Очень понравилось мне стихотворение, в котором Майоров рассказывал, как он плавает. Казалось бы, плывет человек по воде, и ничего в этом нет особенного: никакой романтики!.. Ан нет!.. Я ощущал волны, по которым плыл Майоров, я чувствовал в его стихах знойный летний день, я сам так же плавал. И к чувству восхищения стихами Майорова примешивалось чувство некоторой досады: почему не я написал эти стихи?.. Потом я увидел эти стихи на-

печатанными в столь урезанном виде, столь изуродованными, что мне стало их жалко. Но это было потом.

У меня сохранилось это стихотворение, но, кажется, без последних строк:

На реке

Плыву вслепую. Много не вижу,
А где-то есть конец всему и дно.
Плыву один. Все ощутимей, ближе
Земля и небо, слитые в одно.
И только слышно,
Там, за поворотом
Торчащих свай, за криками людей,
Склонясь к воде с мостков дощатых,
Кто-то
Сухой ладонью гладит по воде.
И от запруд повадкой лебединой
Пройдет волна, и слышно, как тогда
Обрушится серебряной лавиной
На камни пожелтевшая вода.
И хорошо, что берег так далеко.
Когда взгляну в ту сторону,
Едва
Его я вижу. Осторожно, боком
Туда проходит стаями плотва.
А зыбь воды приятна и легка мне...
Плотва проходит рукавом реки
И, обойдя сухой камыш и камни,
Идет за мост, где курят рыбаки.

Я оглянусь, увижу только тело
Таким, как есть, прозрачным, наяву, —
То самое, которое хотело
Касаться женщин, падать на траву,
Тонуть в воде, лежать в песке у мола...
Но знаю я — настанет день, когда
Мне в первый раз покажется тяжелой
Доныне невесомая вода.

.

В тот майский день после чтения стихов я подошел к Коле Майорову, и мы познакомились. Я не утерпел и сказал, что стихи его гораздо лучше, чем стихи... следовал перечень имен. Но Коля не поддержал меня, перевел разговор на другую тему, мои восторги были ему почему-то неприятны. Позднее, подружившись, узнав его хорошенько, я понял, что эта скромность была ненаигранной.

Коля Майоров не любил шумихи, охотно читал свои стихи одному, двум, трем товарищам, но не стремился покорять аудиторию. Ему было чуждо тщеславие. Коля Майоров никогда не сомневался, что он поэт, но не искал этому подтверждения. Для него была характерна та спокойная уверенность, которую я встречал у знакомых мне летчиков.

С осени 1940 года Коля Майоров регулярно посещал поэтический семинар Павла Григорьевича Антокольского, и мы часто встречались в стенах Литературного института, читали друг другу свои стихи.

Стихи Коли не походили на стихи других поэтов.

И ритм самый обычный, и рифмы не в десять слогов, но, слушая Колю Майорова, я забывал и про рифмы, и про ритм, и про эпитеты, и про метафоры, и про все то, чему я тогда, по молодости, придавал значение.

Это особое, майоровское, было даже в тех стихах, которые написаны в пору семинарских занятий в манере учителей, старших поэтов. Назову для примера хотя бы плотно, крепко написанное стихотворение «Рембрандт», которое я еще не видел напечатанным.

Рембрандт

В таверне дым, в кармане ни флорина.
Рембрандт ногтями стучает о стол,
Любуясь переливами графина,
Косым лучом, упавшим на подол
Красотки местной. Пиво на исходе.
Матросы просят рома, ну, а ром
Теперь у бургомистров только в моде,
А моряки привыкли пить ведром.
Они сидят, нахохлившись, сутулясь,
В своем углу и вспоминают вслух
Вакханок с амстердамских улиц,
Пустых жеманниц, безыскусных шлюх.
А старый штурман, отойдя к окошку,
Едва держась, как будто невзначай
Красотке, несшей на подносе чай,
Жмет с вожделеньем пухленькую ножку.
Глухой маньяк, желающий не меньше,
Чем этот штурман, в давке, на лету

За полфлорина амстердамских женщин
Ловить, как птиц, порхающих в порту,
Глядит, трезвея, зло на моряка...
Меж тем Рембрандт, взобравшись на подмости,
Двумя-тремя штрихами с маньяка
Сухим огрызком делает наброски.
Потом идет. Теперь проспать где бы?
Уснув, как грузчик, видит на заре
Матросами заплеванное небо
И слышит грусть шарманки во дворе.

Художник Брюллов в свое время сказал: «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть». Этого «чуть-чуть» у Коли Майорова было больше чем достаточно.

* * *

Коля Майоров жил удивительно просто и скромно. Он не щеголял ни ярким галстуком, ни новым костюмом, чурался всего показного, избегал громких фраз.

Он был человеком огромной жизнерадостности. Умел восхищаться искренне, по-детски. У многих поэтов радость сквозила в стихах, посвященных Первому мая, а у Коли Майорова каждый день было Первое мая!.. И восхищался он только тем, что сам непосредственно видел, слышал, чувствовал, осязал.

* * *

Коля Майоров погиб двадцати трех лет. Невозвратимая потеря! Теперь Коля Майоров посмертно при-

нят в члены Союза писателей СССР. Долг его друзей отыскать все то, что успел сделать замечательный поэт в свои недолгие годы.

Коля Майоров по праву должен войти в нашу поэзию, «как живой с живыми говоря»!

ОБРАЗ ПОЭТА

В 1947 году в вестибюле МГУ я увидел рослого, с открытым лицом, с развевающимися волосами студента — и вздрогнул: он был очень похож на Колю Майорова. Сходство это длилось только мгновение. Пронзила мысль: невозвратные есть потери. Невозможно вернуть человека из земли. И только образ его остается — вечно живой в нашей душе. Я не видел Колю Майорова мертвым. Только знаю рассудком, что он погиб, а сердцем представить не могу его неживым.

Он таким и остался в моей памяти — высокий, сильный, добрый, со зрением, я бы сказал, цветным. Как цветное кино. Он густо воспринимал жизнь, мир в его стихах вставал объемным, весомым, зримым, цветным. Остались от него недописанные поэмы, стихи, строки, осколки таланта. Но и сейчас неподдельной юностью и свежестью восприятия мира веет от этих стихов. До сих пор я люблю повторять его живые строки:

Что услышишь в ночь такую?
То ли вьюга бьет в суку,
То ли тетерева токуют
В ночь такую на току.

И многие, многие строки, живые, молодые, с языческим восприятием жизни, остались от Коли Майорова.

Говорят, что в 1914 году в первые недели войны во Франции погибло 300 поэтов. Триста поэтов! Это не укладывается в сознании!

А скольких поэтов унесла вторая мировая! Одни из них были нашими друзьями, блистательно начинавшими свой поэтический путь, — Коля Майоров, Миша Кульчицкий, Павел Коган, Коля Отрада, Арон Копштейн. Все, что осталось от них, дорого до боли. В них черты нашей юности, облик наших друзей, погибших на войне, но живущих в наших сердцах.

От Коли Майорова осталось немного стихов, многое не сохранилось. Эта маленькая книжка будет нашей признательностью, признательностью живых тем, кто своей жизнью отстоял жизнь для всех.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие <i>Павла Антокольского</i>	3
--	---

Стихи

Мы	7
Творчество	10
Август	11
В Мавзолее Ленина	13
Торжество жизни	14
Рождение искусства	16
На родине	18
Одесская лестница	20
После ливня	22
Утрата	24
Весеннее	25
«Ты каждый день уходишь в небо...»	28
Стихи про стекольщика	30
В госпитале	31
Тут Горький жил	32
«В тот день, когда я был еще не твой...»	35
Отелло	36
Что значит любить	38
Вокзал	40
Смерть революционера	43
«Здесь все не так...»	45

«Я не знаю, у какой заставы...»	47
«Я был ее. Она еще все помнит...»	48
В вагоне	49
«Все к лучшему. Когда прошла гроза...»	51
«Мне нравится твой светлый подбородок...»	52
«Я с поезда. Непроспанный, глухой...»	53
Первый снег	54
«Когда умру, ты отошли...»	55
В грозу	56
Как воруют небо	57
Париж весной 1940 года	59
Ленин	61
«Тогда была весна. И рядом...»	63
Отцам	65
Изба	67
Баллада о Чкалове	69
Песня	71
Памятник	72

Памяти поэта. Воспоминания

<i>Д. Данин</i> — Памяти Николая Майорова	75
<i>И. Пташникова</i> — Студенческие годы	80
<i>Владимир Жуков</i> — Друг	88
<i>Николай Глазков</i> — Майским днем	102
<i>М. Львов</i> — Образ поэта	108

Майоров Николай Петрович

МЫ

Книга стихов. М., «Молодая
гвардия», 1962, 112 стр., с фотогр.
и портретом

Редактор-составитель *Вл. Сякин*

Оформление *В. Лазаревской*

Портрет художника *И. Пчелко*

Худож. редактор *Н. Печникова*

Техн. редактор *В. Лубкова*

А03846 Подп. к печ. 31/1 1962 г.

Бум. 70×108¹/₃₂. Печ. л. 3,5(4,8) +

+ 3 вкл. Уч.-изд. л. 3,4.

Тираж 5 000 экз. Заказ 1563.

Цена 33 коп.

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-30, Сущевская, 21.



13

20100

33 кол.

